ДЕНИС ГРОМОВ



ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

ИСКРА

КНИГА 1

Денис Громов

Прямой наводкой. Искра

«Тайниковский»

2026

Громов Д.

Прямой наводкой. Искра / Д. Громов — «Тайниковский», 2026

Он погиб в горящем танке — и очнулся за рычагами самоходки, зимой сорок третьего, в чужом теле девятнадцатилетнего мехвода.СУ-76. Броня в палец, бензин за спиной, два мотора, которые рвут друг друга на части. Машина, на которой по уставу положено идти впереди пехоты — и гореть.Он знает, почему она ломается. Знает, как её водить по болоту, где тонут все. Знает, что у самоходки нет башни, и потому воевать ей надо не бронёй, а местом.Осталось убедить в этом тех, кто выше званием. И того, кто уже обвёл его машину на своей карте и подписал одно слово: der Schmied.

© Громов Д., 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 12
Глава 3 20
Глава 4 27
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Денис Громов
Прямой наводкой. Искра

Глава 1

Мы стояли на месте уже полторы минуты, а столько стоять было нельзя.

— Кузнец, ещё две по посадке, и уходим, — голос Тимура в наушниках дрожал от нетерпения.

— Одну, Тимур, — отрезал я. — Одну, и сразу назад.

Я довернул башню. В прицеле лесополоса дрожала от нагретого воздуха, в дымке угадывалась серая коробка на краю, то ли блиндаж, то ли остатки сарая. Оттуда десять минут назад вышла труба ПТУРа, по счастью, не в нашу сторону, а по соседям.

— Осколочным. Прицел…

Лёха внизу нетерпеливо газанул, и машину качнуло.

— Не дёргай, Лёха, стоим.

— Командир, движок кипит! — крикнул снизу Лёха.

— Потерпит, ему недолго осталось.

Ударило не снаружи, а как будто изнутри головы. Свет погас и включился неправильный, оранжевый, с боков. В нос шибануло горелой резиной и тем сладковатым, от чего потом три дня полощешь горло. Дрон, и я даже понял, с какой стороны: сверху, конечно, где же ещё.

— Горим! — Тимур сорвался на визг.

Его собственный люк заклинило, и я вытолкнул его через свой. Он зацепился ремнём, я дёрнул и порвал ремень, мы скатились по броне, он упал, я сверху, и снег, грязный, апрельский, в мазуте, обжёг, как прорубь.

— Лёха где? — заорал я.

Тимур мотал головой, ничего не слыша. У него из уха текла кровь.

— Где Лёха, я спрашиваю

Я полез обратно. У механика свой люк, и открывается он, только если пушка не над ним, а ствол стоял как раз над ним. Пока я лез, в голове стояла совершенно ясная, спокойная мысль: успею довернуть, секунд двенадцать. Электрика сдохла, значит, ручным приводом, тридцать оборотов маховика, и выходит уже не двенадцать секунд, а двадцать пять.

Я крутанул четыре раза. Потом боекомплект решил, что хватит.

* * *

Сначала была темнота, а потом в ладонях оказались рычаги.

Настоящие, железные, холодные, обмотанные сверху залоснившимся от чужих рук брезентом. Левый уходил вперёд, правый стоял. Машину давно тянуло влево: гусеница с той стороны нащупала обочину и жрала её, снежную и мягкую.

Руки справились раньше, чем я успел удивиться. Правый на себя до половины, левый отпустить, газ не сбрасывать. Корма пошла юзом, но машина выползла и снова встала в колею.

Мороз бил прямо в лицо, открыто, будто подо мной был мотоцикл, а не танк. Впереди в темноте покачивались два тусклых синих пятнышка, габариты идущей впереди машины, закрытые светомаскировкой так, что разглядеть их можно было шагов с двадцати.

Вот тут я и удивился.

— Бортник! Спишь, зараза

Кто-то саданул меня кулаком по плечу, сверху и сзади, из тесноты. Я не ответил. Я держал колею, смотрел на синие пятнышки и на свои руки на рычагах. Руки были чужие: молодые, в трёхпалых рукавицах, и из левой торчала распустившаяся нитка.

— Уснул, паршивец! Я тебе усну!

— Не уснул я, — огрызнулся я.

Голос тоже оказался чужим, выше моего, без хрипотцы, и вышло обиженно, как у пацана, которого разбудили на уроке.

— Не уснул он! — передразнили сзади. — Мы чуть в кювет не легли!

— Не легли же, — недовольно буркнул я.

Сзади замолчали. Потом тот же голос, уже без прежней злости, но всё равно нехорошо:

— Дойдём, Бортник, я тебя самолично закопаю. И трактор твой колхозный рядом.

Я вёл машину и понимал три вещи.

Я не в танке. Слишком тесно, слишком низко, и в шаге слева от меня тарахтел двигатель, а в шаге справа второй. Два маленьких злых движка, звучавших как сцепившиеся в мешке кошки.

В машине пахло не гарью и не порохом, а бензином, махоркой и мокрой овчиной.

А третья вещь была самая неприятная. Я знал, как её вести. Пальцы помнили, где бортовой фрикцион, а где главный, нога находила педали, и даже поганая привычка держать правый рычаг чуть подтянутым, чтобы машину не уводило, взялась откуда-то не из моей жизни. Руки были не мои, а значит, и всё остальное тоже.

* * *

Колонна встала часа через два, когда небо слева начало сереть. Команду передали голосом, по цепочке, и это меня окончательно добило: крикнули впереди, потом ближе, потом кто-то высунулся и заорал прямо над головой:

— Стой! Глуши! Маскируйсь!

Я заглушил сначала левый, потом правый, и после них навалилась такая тишина, что в ушах зазвенело.

Люк открывался не вверх, а вбок. Я вылез на броню, спрыгнул и ушёл в снег почти по колено, и подшитые валенки, дрянные, тут же промокли. Потом обернулся.

Она стояла в предрассветной серости, низкая, коробчатая, без башни, с длинной пушкой, торчащей вперёд из скошенной рубки. Гусеницы узкие, тракторные. Её белили известью наспех и плохо, местами проглядывала зелёная краска. Самоходка. Я обошёл её кругом, как обходят лошадь, и на лобовом листе под побелкой нашлась цифра, накрашенная по трафарету: двадцать три.

— Чего ходишь? — окликнули сзади.

Из люка вылезал здоровенный парень в телогрейке, из-под ушанки выбивался светлый чуб. Он был такой широкий, что в люк проходил боком, и ему это явно не нравилось.

— Смотрю вот на неё, — ответил я.

— Ну смотри, смотри. Может, новое чего разглядишь, — о н спрыгнул, и снег под ним ухнул. — Слышь, Колька. Ты не серчай на лейтенанта. Он сам третьи сутки не спал.

Значит, Колька.

— Не серчаю, чего там, — буркнул я, хотя обижаться было не на кого.

Он вытащил из-за пазухи тряпицу, развернул, отломил половину сухаря и сунул мне.

— На, грызи, пока зубы свои.

Сухарь был каменный. Я сунул его за щёку, как леденец, и стал ждать, пока размокнет. Это тело, похоже, знало, что с сухарями поступают именно так, потому что решение пришло само.

— Федь! — позвали от машины. — Федь, лезь сюда, помогай.

— Иду, Лукич! — откликнулся Федя.

Федя, Лукич и лейтенант, который меня закопает. Я стоял по колено в снегу января неизвестно какого года и жевал каменный сухарь чужими зубами.

* * *

Колонна стояла в мелколесье, вдоль насыпи узкоколейки. Машин я насчитал девятнадцать, но дальше дорога загибалась, и что за поворотом, было не видно. Большинство были такие же, как наша, низкие, с длинной тонкой пушкой. Четыре других, потяжелее, с коротким толстым стволом, торчавшим вперёд обрубком, сидели в снегу основательно, по-хозяйски.

Я смотрел на них, и под ложечкой разворачивалось холодное, чего не было даже под дроном. Четыре тяжёлых были СУ-122, а наши тонкие были СУ-76, и это означало сорок третий год.

Эти машины я знал, как знают лица в семейном альбоме: вот дед, вот дед с товарищами, вот подпись карандашом на обороте. Я лазил по такой в Кубинке, стукнулся башкой о верхний лист и долго потом смеялся. Я клеил её в масштабе один к тридцати пяти, когда мне было двенадцать, и у меня не сошлись траки. А теперь я её водил.

— Бортник!

Ко мне шёл невысокий лейтенант, совсем молодой, лет двадцати, с круглым обветренным лицом и злыми глазами невыспавшегося человека. Шинель висела на нём как на вешалке, планшет болтался на боку и мешал идти.

Тело выпрямилось само, раньше головы.

— Товарищ младший лейтенант…

— Что «товарищ младший лейтенант»? — он остановился в шаге. — Ты понимаешь, что ты чуть машину не угробил?

— Понимаю, товарищ младший лейтенант, — ответил я.

— Ни хрена ты не понимаешь, — он дышал паром мне в лицо. — Это не трактор и не полуторка. Это, Бортник, боевая машина, и она одна на весь взвод, потому что вторая встала под Тихвином и до сих пор там стоит! Соображаешь

— Соображаю, товарищ младший лейтенант, — буркнул я.

— Не соображаешь!

Он отвернулся и посмотрел на дорогу, и я вдруг понял, что ругает он не меня. Он ругал себя, а доставалось мне, потому что младше меня в этой машине никого не было.

— Сколько спал? — голос у него стал другим.

— Не помню уже, — признался я.

— Вот и я не помню, — он потёр лицо рукавицей. — Ладно. Два часа на отдых. Ещё раз уснёшь за рычагами, отдам в пехоту. Там выспишься. Насовсем.

Он пошёл дальше вдоль колонны, и я окликнул его в спину:

— Далеко ещё, товарищ младший лейтенант?

Фамилию его, Тарасюк, мне через полчаса назвал Федя, но я будто вспомнил её сам. Он обернулся и посмотрел на меня, словно я спросил, когда кончится война.

— Тебе не всё равно?

— Мне её вести, — упёрся я. — Значит, не всё равно.

Он подумал и ответил коротко, зло и честно:

— К Волхову. Дальше не твоего ума.

* * *

Волхов. Я сидел в снегу спиной к гусенице, жевал сухарь и складывал.

Январь, самоходные полки, первые за всю войну, потому что до сорок третьего их не было вовсе, а эти шли колонной, новенькие, необмятые, с заводскими номерами на лобовых листах. Складывалось нехорошо, в «Искру».

Как историк я этого не знал, я и вообще толком не знал, только обрывками, как всякий, кто мальчишкой читал книжки с картами и стрелками. Прорыв блокады, двенадцатое января. Встречные удары, Ленинградский фронт с запада, Волховский с востока, рабочие посёлки с номерами вместо названий, Шлиссельбург, Синявино. И торфяные болота, в которых всё это тонуло.

Я поднял голову и посмотрел на нашу двадцать третью. Одиннадцать тонн. Броня двадцать пять миллиметров по лбу, пятнадцать по борту, то есть никакая: её возьмёт крупнокалиберный пулемёт с фланга, пробьёт противотанковое ружьё, а кое-где и автоматная очередь в упор, если стрелку повезёт. Зато пушка была дивизионная трёхдюймовка, та самая, которой всю войну били всё, что шевелится. Хорошая пушка на плохой тележке.

— Чего сидишь, как сирота? — Федя плюхнулся рядом, и снег опять ухнул. — На вот, кипятку. Не обожгись, он злой.

Кружка была немецкая, трофейная, с вмятиной. Я обхватил её обеими руками и сообразил, что уже минут двадцать не чувствую пальцев.

— Федь, а какое сегодня число?

Он повернулся ко мне всем корпусом.

— Ты чего, Колька?

— Число, говорю, какое, — повторил я.

— Ты головой не бился, часом? — он потянулся снять с меня ушанку, я увернулся. — Стой, дай гляну…

— Федя. Какое число?

— Восьмое, — протянул он. — Январское.

— А год? — спросил я.

Федя перестал улыбаться, и это было хуже всего. Пока он улыбался, было терпимо, а теперь стало видно, что ему двадцать четыре года, что он не спал столько же, сколько лейтенант, и что он боится. Не меня, а за меня.

— Сорок третий, — голос у него сел. — Колька, ты со мной так не шути. У нас в первой машине один так пошутил под Тихвином, его особист забрал, и всё, нету человека.

Я отхлебнул кипятку. Кипяток и правда был злой, обварил нёбо, и это было хорошо, потому что боль настоящая, а всё остальное пока нет.

— Не шучу я, — соврал я. — Спросонья это.

— Спросонья бывает, — он с облегчением опять заулыбался. — Я вот раз проснулся, а печь у нас в хлебне гудит, и мне почудилось, что немец летит. Я под стол. А мамка полено из печи достаёт и на меня глядит. Стыда-то было.

— Ты пекарь, что ли?

— Пекарь. Муром знаешь?

— Слыхал про Муром.

— Ну вот, — он гордо поднял палец. — Пряников. Фёдор Пряников, пекарь. Понял, какая фамилия? Я с ней родился, а профессию потом подбирал, чтоб подходило.

Я засмеялся, хотя было не смешно. Иначе пришлось бы делать что-то другое, а что именно, я не знал.

* * *

Лукич появился через полчаса и полез мне в душу сразу, только не словами, а делом.

Он был старый по-настоящему, не как мы: лет сорок пять, а то и больше, серая щетина, лицо в глубоких складках, будто его вырезали ножом из доски и не отшлифовали. Наводчик. Он посмотрел на меня, потом на машину.

— Сдвинь-ка на полкорпуса, — велел он.

— Зачем, Лукич?

Он показал подбородком. Между двух ёлок был просвет, и сквозь него метрах в трёхстах виднелось поле.

— Ежели «рама» пойдёт, она сюда глянет. А ты сдвинь, и не глянет.

Я завёл, сдвинул, заглушил. Он обошёл машину, поглядел ещё раз и кивнул сам себе, а мне ничего не сказал.

— А вы откуда знаете, куда она глянет? — спросил я.

Старик пожевал губами.

— Я, милый, в пятнадцатом году под Сморгонью с пушки стрелял. Тогда аэропланы были на верёвочках, и лётчик в них сидел и рукой махал. А глядели они сверху уже тогда одинаково.

И ушёл к машине. Федя наклонился ко мне:

— Он глухой на левое. Ты, если чего, справа заходи. А то ты вроде говоришь, а он не слышит и думает, что молчишь. И не ори ему. Обижается.

* * *

Два часа стоянки я не спал. Лежал на своём месте под брезентом и разбирался.

Меня зовут Николай Бортник, мне девятнадцать лет, я откуда-то из-под Калуги. Это я понял по тому, как ко мне обращались, и по тому, как сам про себя подумал «наши-то, поди, уже отсеялись», хотя стоял январь и сеять было нечего. Тракторист с МТС, значит, гусеничный, СТЗ или ХТЗ. Водить он умел лучше, чем положено девятнадцатилетнему пацану, потому его и посадили сюда, а не в пехоту.

Воевать он не воевал ни дня. Полк, 1434-й отдельный самоходный артиллерийский, формировали в декабре где-то под Москвой, а теперь гнали на Волховский фронт своим ходом, что было глупостью, но железной дороги, видно, не дали, а время поджимало. Машин двадцать с небольшим, из них четыре тяжёлые. Командир полка подполковник Ситников, которого я ещё не видел.

Цепляло меня по-настоящему другое. За эти два часа в колонне трижды заводили машины, и каждый раз я слышал тот самый звук. Когда два движка выходят на одни обороты, в трансмиссии появляется вой, не рёв и не лязг, а тонкий, на грани, будто внутри звенит зажатая проволока. Держится секунду-две и уходит. Я слышал его у себя ночью и решил, что почудилось. Зря решил.

Я сел, брезент сполз, стало холодно, и я этого не заметил.

Два двигателя ГАЗ-202 стоят рядом и работают на общий вал. Каждый по отдельности обычная грузовая шестидесятка, безобидная, как утюг. Но на общем валу они начинают спорить: один чуть быстрее, другой чуть медленнее, и вал между ними скручивается и раскручивается обратно сотню раз в секунду. Крутильные колебания, резонанс. На определённых оборотах он рвёт всё, до чего дотянется: главный вал, коробку, бортовые. Я знал это не как танкист, а как человек, который семь лет до контракта провозился в гараже с чем попало и однажды угробил стенд, не поставив демпфер.

И ещё я знал, что этих машин наклепали за зиму не то пятьсот, не то шестьсот, что через два месяца их снимут с производства и будут переделывать, и что до того они успеют встать посреди боя. Все до одной.

* * *

— Заводи!

Колонна оживала неохотно, как замёрзшая собака. Я забрался на место, притянул рычаги, слева и справа зачихало.

И в первый раз я сделал то, что потом делал полторы тысячи километров: не стал выводить движки на удобные обороты, а взял чуть выше. Машину мотало, трясло, она шла грубее и жгла больше бензина, зато вой не появлялся.

Километра через три сверху вмешался Тарасюк:

— Бортник, ты чего тянешь на всю глотку? Ты её так сожжёшь.

— Не сожгу, товарищ младший лейтенант, — ответил я.

— Обороты сбрось, я сказал!

Я сбросил, на три секунды. Их хватило: вой пришёл, тонкий, злой, где-то под ногами, между моторами и коробкой. Я поддал газу, и он ушёл. Наверху замолчали.

— Это что было? — у Тарасюка голос стал совсем другой.

— Это она себя ест.

— Как это ест? — переспросил он.

— А вот так, — я смотрел вперёд, на синие габариты передней машины. — Два мотора на один вал, и они друг друга дёргают. На определённых оборотах, как раз на тех, на которых вам удобно, они попадают в такт и начинают вал выкручивать во много раз сильнее, чем он рассчитан. Вал сначала терпит, потом устаёт, потом лопается. Обычно под нагрузкой. Обычно когда надо ехать.

Тишина тянулась километр.

— Бортник, ты где такого набрался?

Вот он, первый такой вопрос. Я знал, что он прозвучит, и всё равно не был готов, потому что для человека, которому девятнадцать и которого спрашивают о том, на что нельзя ответить, это нормальное состояние.

— Я в МТС работал. У нас на молотилке два движка на общий привод стояли, так их через сезон меняли. Механик говорил, не любят они вдвоём тянуть. Ругаются.

— Ругаются, значит, — Тарасюк хмыкнул.

— Брехня, — Федя высунулся сверху. — Сроду не слыхал, чтоб железо ругалось. Хотя вот у нас в хлебне тестомес…

— Помолчи, Пряников, — бросил Тарасюк.

Федя помолчал ровно минуту.

— …тестомес, говорю, тоже ругался. Но у него причина была, мы его салом смазывали, когда солидола не давали. А сало, оно прогоркает.

* * *

Рассвело, и нас впервые увидели с воздуха.

«Рама» шла высоко, не спеша, вразвалку, двухбалочная, ни на что не похожая, и живот у меня сжался задолго до того, как по колонне заорали:

— Воздух! Маскируйсь!

Я загнал двадцать третью под ёлки, в такое же место, какое показывал Лукич, заглушил, и все повыскакивали и легли. Лежать в снегу под ёлкой и смотреть, как над тобой ходит самолёт, оказалось ровно тем же, что лежать и слушать дрон. Тот же холод в затылке, то же тупое детское желание вжаться в снег, хотя дальше некуда.

— На неё не смотри, — Лукич лежал рядом. — Лицо белое, сверху видать.

Я уткнулся в рукав. «Рама» прошла один раз, развернулась и пошла вторым заходом.

— Отфотографировала, — проворчал Лукич. — Теперь жди.

— Чего ждать-то, Лукич? — Федя приподнялся на локте.

— Гостей, — ответил Лукич. — Мы же не иголка. Двадцать штук железа на одной дороге, найдут.

Тарасюк поднялся, отряхнулся и пошёл к головной машине. А я лежал и думал, что почти вся наша колонна, двадцать одна машина, как я досчитал позже, доедет до фронта на тех самых удобных оборотах. Что через неделю, самое большее две, начнётся. Что я знаю две вещи, которых здесь не знает никто: почему ломаются машины и что будет двенадцатого числа. За первую меня, может, и выслушают. За вторую точно нет.

* * *

Вечером, на большом привале, я нашёл то, что искал.

У штабной полуторки на ящике лежала папка с бумагами. Я шёл мимо с двумя котелками и остановился только потому, что сверху лежал путевой лист, а на таком всегда есть дата. Восьмое января тысяча девятьсот сорок третьего года, химическим карандашом, и буква «ч» у писавшего выходила с длинным хвостом.

Смотрел я не на дату, её я и так знал, а на почерк. Цифру можно придумать, отменить, переправить. Кривой хвостик у буквы, выведенный чужой рукой на морозе в конце сорок второго, не оспоришь никак. Всё было настоящее. И Тимур, которого я вытащил, и Лёха, за кото-

рым не успел, остались там, за семьдесят с лишним лет отсюда. Никакого «обратно» не предполагалось: туда вела только горящая машина, за двенадцать секунд до детонации.

— Эй! Чего встал?

Из-за полуторки вышел писарь, маленький, в очках, с бабьим платком, намотанным поверх ушанки.

— Чего надо?

— Ничего, — буркнул я. — Мимо шёл.

— Ну и шёл бы, — бросил писарь.

Я пошёл. Котелки были тяжёлые, ручки резали пальцы даже через рукавицы, и эту резь я чувствовал очень отчётливо. Снег скрипел, от кухни тянуло пшёнкой и горелым. Небо на западе лежало в низких тучах, и оттуда, издалека, глухо и ровно погромыхивало, будто там кто-то катал по железному листу тяжёлый шар. Я шёл и считал. Двенадцатого начнётся, значит, осталось четыре дня.

* * *

У машины меня ждали все трое: Тарасюк на лобовом листе, Лукич на корточках у гусеницы с обрывком проволоки, Федя внизу с ложкой наготове.

— Где тебя носит? — Федя уже тянулся к котелкам. — Я думал, ты с ними в плен подался.

Тарасюк сидел на броне, свесив ноги, и в темноте лица его было не разобрать, только огонёк самокрутки.

— Бортник.

— Я, товарищ младший лейтенант.

— Я про твои обороты весь день думал. Ты вот что. Завтра, как встанем, покажи мне. Не на словах. Заведи и покажи, где воет.

— Покажу, — пообещал я. — Сделаю.

— И если правда… — он затянулся, огонёк разгорелся, и на секунду стало видно лицо, мальчишеское, некрасивое, серьёзное. — Если правда, я к замполитеху пойду. Он мужик ничего. Гуревич фамилия.

— А если он не поверит? — спросил я.

— Тогда, Бортник, ты будешь дурак, а я дурак, который дурака слушал, — он спрыгнул с брони и затоптал окурок. — Но машину мне жалко. Она одна на взвод, я тебе говорил. Всё. Спать.

Они полезли внутрь один за другим: в машине тесно, зато не дует, а под ёлкой к утру не встанешь. Я задержался на минуту и положил ладонь на холодный лобовой лист двадцать третьей, на побелку, под которой была зелёная краска, а под ней два с половиной сантиметра катаной стали.

Нормально, подумал я. Значит, будем жить вот так, потому что другого «дальше» мне никто не предлагал.

— Бортник! — позвали изнутри. — Люк не морозь!

Я полез в машину, откликнувшись на чужое имя, как на своё.

Глава 2

Такое утро хотелось проспать целиком.

Мороз к рассвету взялся всерьёз, градусов под двадцать пять, и от нашего дыхания в машине всё покрылось инеем: стенки, казённик, даже брезент. Проснулся я оттого, что Федин локоть упирался мне в почку, и чем больше Федя ворочался во сне, тем настойчивее. Будить его не стоило: человек он был добрый, но спросонья мог и приложить, не разбирая.

Лукич уже сидел у прицела, прямой как палка, и точил о голенище маленький ножик.

— Что, замёрз? — спросил он, не оборачиваясь.

— Есть немного, ног не чую.

— Ноги разотри. Ноги, милый, главное. Голова у солдата второй сорт, а ноги первый.

Я стащил валенок. Портянка была сырая и заскорузлая, а то, что под ней, мне не понравилось: пальцы белые и на ощупь будто чужие.

— Лукич, а сушиться тут где?

— Нигде, — хмыкнул Лукич. — На себе. Мотай посуше, ходи побольше, — он всё-таки обернулся. — И вот тебе совет, раз уж спросил. На ночь портянку не снимай, а перемотай наоборот: мокрым концом кверху, сухим к ноге. Тепло тебя за ночь досушит.

— Спасибо, Лукич.

— Пока не за что, — проворчал он. — Через неделю скажешь.

Федя завозился, мыкнул и сел, приложившись макушкой о верхний лист. Так он начинал каждое утро, без исключений, я потом убедился, и всякий раз удивлялся заново.

— Твою ж качель! — Федя держался за голову. — Кто её так низко сделал?

— Нарком делал, — буркнул Лукич, не откладывая ножика.

— А наркома кто просил?

— А наркома, Федя, война просила. Ты у ней ещё много чего спросишь, только она тебе не ответит.

* * *

Тарасюк пришёл ровно в семь. Я, честно говоря, надеялся, что он забудет: ночью мне казалось, что я наговорил лишнего и лучше бы посидеть тихо, оглядеться. Не забыл.

Он забрался на броню.

— Заводи. Показывай.

— Товарищ младший лейтенант, можно я сперва спрошу? Если я покажу, а вы поверите, что дальше?

Он посмотрел на меня сверху вниз. Утром он выглядел лучше, чем ночью: побрился кое-как, холодной водой, и порезался в двух местах.

— А дальше, Бортник, не твоя забота. Твоя забота рычаги. Заводи.

Сначала я запустил левый, потом правый. Заводились они всегда по-разному: левый брал с полтычка, а второй капризничал и требовал уговоров. Машина затряслась. Я дал ей прогреться и стал осторожно, по чуть-чуть прибавлять газ.

— Слушайте не ухом, а ногами.

— Чего слушать? — переспросил Тарасюк.

— Ногами, товарищ младший лейтенант. Встаньте на трансмиссию и слушайте ступнями.

Спорить он не стал, и это мне в нём понравилось. Другой начал бы объяснять, кто здесь командир, а Тарасюк молча слез, встал на кормовой лист и замер.

Я повёл обороты вниз. Ещё ниже. Вот сюда.

И оно пришло: тонкий, высокий, на самом пределе слуха вой, будто в железе зажали проволоку и она поёт. Держался он секунды три, и всё это время Тарасюк стоял не шевелясь, а потом отдёрнул ногу.

Я поддал, и вой пропал. Сбросил, и он вернулся. Снова поддал.

— Ещё раз, — хрипло потребовал Тарасюк.

Я повторил, потом ещё. Он спрыгнул в снег и долго молчал, глядя на корму двадцать третьей, будто видел её впервые.

— Это где? — выговорил он наконец.

— Вал между движками и коробкой. Они его вдвоём крутят и сами же выкручивают.

— И что будет?

— Кончится он. Не сегодня, но кончится.

Тарасюк потёр подбородок, наткнулся на порез и поморщился.

— А почему тогда на заводе этого не заметили?

Вопрос был хороший и правильный, только честно ответить на него я права не имел. Честный ответ звучал так: заметили, да поздно, машину гнали в серию бегом, потому что фронту она была нужна вчера, а разбираться станут весной, по итогам, когда полки встанут.

— Может, и заметили. Может, некогда было.

— Некогда, — повторил Тарасюк. — Ну да. Ну да.

Он глянул на часы, здоровые, на ремешке поверх рукава.

— Полчаса до движения. Глуши и заливай полный. И, Бортник…

— Слушаю, товарищ младший лейтенант.

— Пока помалкивай, — предупредил он. — Не потому, что не верю. В полку двадцать одна машина, и если в каждой сейчас заведут разговор, что она сама себя жрёт, воевать никто не поедет.

* * *

Тронулись в половине восьмого, когда только-только засерело. Шли медленно, километров по двенадцати в час: дорога была одна, а на ней, кроме нас, двигалось всё остальное.

Такого я не видел ни в кино, ни на картинках. Узкая, разбитая, она петляла через мелколесье между снежных брустверов в мой рост, нарезанных бульдозером или прокопанных вручную. Навстречу тянулись порожние сани, вереницей, с мохнатыми заиндевелыми лошадьми; возницы спали, и кони шли сами, путь они знали лучше. Позади ползли полуторки с ящиками под брезентом и лапником. Слева, прямо по целине, по грудь в снегу, гуськом, след в след, брела пехота, и так долго, что я перестал ждать, когда она кончится.

Над всем этим стоял ровный, низкий, непрекращающийся гул тысяч ног, копыт, колёс и моторов. Он поднимался будто из-под земли, и казалось, что тихой здешняя земля не бывает вовсе.

Федя высунулся наружу.

— Красиво идут.

— Кто идёт-то? — не понял я.

— Пехота. Гляди, как ровненько.

— Это они не от красоты, — отозвался Лукич. — Это они в один след, чтоб силы беречь. Первому тяжко, остальным ничего.

— А первого потом меняют? — поинтересовался Федя.

— Должны бы.

— А если не меняют?

— Тогда первый ложится, и вперёд выходит второй.

Федя втянулся обратно и уже снизу пробурчал:

— Невесёлый ты человек, Лукич.

— Я, Федя, весёлый. Я просто давно воюю.

* * *

К полудню я знал полк. Не по фамилиям, их я собирал потом неделями, а по машинам: механик всегда сперва запоминает железо.

Нас было двадцать одна: семнадцать СУ-76 и четыре тяжёлые СУ-122 с коротким стволом-обрубком. Шли двумя батареями и отдельной тяжёлой, и её пускали в середине, как в обозе берегут телегу с посудой. Головной шла двенадцатая, с командиром первой, старшим лейтенантом Марчуком, мужиком громким и рыжим: его было слышно через две машины даже на ходу.

Наша двадцать третья шла девятой. За ней, десятой, тащилась двадцать первая, и она мне сразу не понравилась.

Она дымила, и не так, как все, сизым облачком на разгоне, а ровно и всё время, густо и синё, то есть масло уходило туда, куда не надо. А ещё она шла рывками, то нагоняя нас, то притормаживая. Значит, механик там либо неопытный, либо не может удержать обороты.

— Федь, кто на двадцать первой за рычагами? — крикнул я в переговорку.

— Сёмка Дрозд, — откликнулся Федя. — А чего?

— Да так, смотрю.

— Он ничего парень. Гармонь у него, — Федя подумал. — Играет, правда, одну песню. Зато громко.

— Давно он на машине?

— Как и все, с декабря.

С декабря, то есть месяц. То есть нисколько.

Я смотрел в свою щель на дорогу и думал, что вся наша сила сейчас — двадцать одна новенькая машина, которую никто толком не знает, с экипажами, месяц как из учебки, и через четыре дня всё это поедет в бой. А чем кончится, знаю я один. Ну, может, не совсем один: Лукич, стрелявший под Сморгонью в пятнадцатом году, кажется, тоже примерно представлял.

* * *

В полдень встали на дневку в вырубке, и там я впервые увидел зампотеха.

Он шёл вдоль колонны, невысокий, в замасленной телогрейке поверх формы, без ремня, шапка набекрень, а за ним, как утята, тянулись двое бойцов с ящиком инструмента. У каждой машины он задерживался, что-то спрашивал и двигался дальше. Остановился и у нас.

— Двадцать третья. Чего просишь?

— Ничего, товарищ техник-лейтенант, — доложил Тарасюк. — Идём нормально.

— Нормально, это хорошо. Это, знаете, редкость.

На вид ему было лет тридцать: узкое усталое лицо и очень быстрые глаза. Они не бегали, а перескакивали с лица на гусеницу, оттуда на выхлоп и обратно.

— Масло берёте?

— Подливаем помаленьку.

— А сколько? — уточнил Гуревич.

Тарасюк замялся: он не знал, а врать не хотел.

— Литр восемьсот за вчерашний переход, — вставил я. — Левый берёт, правый почти нет.

Зампотех перевёл глаза на меня.

— Ты механик?

— Так точно.

— Фамилия?

— Красноармеец Бортник.

Он почему-то протянул мне руку.

— Гуревич.

Ладонь у него была как наждак.

— Литр восемьсот, — протянул он. — А остальные говорят «подливаем». Все двадцать, как один, — усмешка у него вышла невесёлая. — Знаешь, Бортник, я в полку четвёртую неделю и до сих пор не могу узнать, сколько мы жрём масла. Все стесняются.

— Чего тут стесняться-то?

— Что скажут: механик плохой, — он похлопал двадцать третью по броне, как лошадь. — А она жрёт не из-за механика. Она такая.

Я решился.

— Товарищ техник-лейтенант, а у вас в полку коробки летели?

Гуревич перестал улыбаться. Это случилось мгновенно: только что было одно лицо, и вот его уже нет, а есть другое, внимательное и плоское.

— Почему спрашиваешь?

— Думаю, полетят.

Гуревич не отводил от меня глаз.

— Тарасюк, это у тебя механик такой умный или такой дурак?

— Он у меня, товарищ техник-лейтенант, с восьми утра умный, — честно признал Тарасюк. — А до восьми был дурак.

Гуревич шагнул ближе и понизил голос.

— За переход от Череповца три коробки. Одну я собрал из двух, две бросил. И все три, Бортник, полетели на ровном месте. Не в грязи, не на подъёме. По укатанной, на малом газу, почти вхолостую.

— На малом газу. Вот именно.

— Что «вот именно»?

Я набрал воздуха, и тут по колонне заорали.

* * *

Двадцать первая встала в трёхстах метрах впереди, уже на дороге, когда полк вытягивался из вырубки. Пока мы подошли, её обступили человек двадцать. Дрозд, маленький, чумазый, в съехавшей на затылок шапке, стоял у раскрытого люка и виновато моргал.

— Да я ничего! Я как все! Я и не газовал вовсе!

— Отставить нытьё, — отрезал Марчук, на голову выше всех и рыжий, как подсолнух. — Заводи.

Дрозд полез внутрь. Движки взяли и затарахтели ровно, как положено.

— Трогай давай.

Дрозд отпустил фрикцион. Машина дёрнулась и не пошла, из-под неё донёсся мерзкий сухой звук, костяной: кряк. И всё.

— Ещё разок.

Крряк.

— Хватит, — бросил Гуревич. — Не ломай окончательно.

Он полез под машину прямо в снег, на спину, как был, в телогрейке, пролежал там минуты две и выбрался весь белый, в чёрных полосах.

— Главный вал пополам. И бортовую, похоже, задело.

Двадцать человек стояли вокруг мёртвой самоходки и молчали: каждый думал про свою.

— Четвёртая, — пробормотал Гуревич будто сам себе. — За семнадцать дней.

— Буксировать её, — распорядился Марчук.

— Нечем, товарищ старший лейтенант, — возразил Гуревич. — Тягач один, и он под тяжёлыми. А если этой цеплять, мы полк на сутки остановим.

— Так что, бросать?

Гуревич не ответил.

Я смотрел на Дрозда. Он стоял у своей машины, держась рукой за гусеницу, с таким видом, будто у него на глазах увели из хлева корову. Было ему лет двадцать, может, меньше. Из вещмешка, притороченного к борту, торчала гармонь.

— Товарищ техник-лейтенант, можно я гляну?

— Гляди, — фыркнул Гуревич. — Тебе-то что там глядеть.

Под машиной было темно и пахло горелым маслом. Я нащупал кожух, провёл ладонью вдоль и нашёл разрыв, и пальцы поняли всё раньше глаз. Излом был не рваный, а почти гладкий, с мелкими кольцами, как срез дерева, и только с краю торчал маленький неровный язычок: там металл наконец сдался и доломался разом. Усталостный, классический, такой рисуют на плакате в кабинете сопромата.

Я вылез.

— Ну? — Гуревич ждал.

— Он не сейчас лопнул. Он неделю лопался, а сегодня просто доломался.

Вокруг зашумели. Дрозд шагнул ко мне, лицо у него было красное.

— Слышь, ты! Ты чего несёшь? Самый умный, да? Я за ней ходил как за дитём!

— Я не про тебя, Сёма.

— А про кого

— Про неё.

Дрозд открыл рот, закрыл и вдруг, неожиданно для всех, всхлипнул, один раз, сухо, по-мальчишески, и сразу отвернулся.

— Дрозд, соберись, — Марчук говорил уже без злости.

— Есть собраться, — выдохнул Дрозд.

Гуревич взял меня за рукав и отвёл на три шага в сторону.

— Кольца видел?

— Видел.

— И что они значат?

— Что он трескался понемногу. Каждый раз чуть-чуть, тысячу раз по чуть-чуть.

— От чего?

Я посмотрел ему в глаза.

— От того, что его двое крутят, и каждый по-своему.

Гуревич моргнул, отпустил мой рукав, отошёл и снова вернулся.

— Бортник, вечером придёшь ко мне. С лейтенантом своим. И повторишь, медленно и с самого начала.

— Есть прийти вечером.

— И вот что, — он оглянулся на толпу. — Сейчас иди к машине и больше ни с кем на эту тему не говори. Ни с кем, понял?

— Понял, никому ни слова.

Он покивал, глядя мимо меня на дорогу, по которой шла и шла пехота.

— Четвёртая. А до передка ещё семьдесят километров.

* * *

Двадцать первую сволокли с дороги вручную двумя машинами, тросами, матом и ломами, поставили в кусты и накрыли лапником. Снаряды раскидали по другим экипажам, Дрозда с его людьми посадили на полуторку. Гармонь он забрал.

Когда колонна тронулась, я видел в щель, как двадцать первая остаётся позади, серая, тихая, с задранным стволом, под снегом, который уже начал её прибирать. Ничего с ней не случится, убеждал я себя. Придут ремонтники, поставят новый вал. Через месяц. Может быть.

— Кольк, — позвал сверху Федя. — А ты правда знаешь, отчего она лопнула?

— Правда знаю.

Он помолчал.

— А наша тоже лопнет?

Прежде чем ответить, я подумал и решил, что этому человеку врать нельзя никогда: он поверит.

— Наша нет. Я не дам.

— А как ты не дашь-то?

— Ездить буду по-другому.

Федя посопел, переваривая.

— Ну ты гляди. Я в тебя верю. Я в кого поверю, тот потом живёт долго. У нас в хлебне так было: в кого я поверю…

— Пряников, хватит, — окликнул сверху Тарасюк.

— …тот потом живёт долго, — упрямо продолжил Федя.

* * *

Вечером мы с Тарасюком пришли к Гуревичу.

Ему досталась не целая землянка ремонтников, а угол, отгороженный плащ-палаткой, и в нём помещались нары, ящик вместо стола и коптилка из снарядной гильзы. На ящике лежала раскрытая тетрадь, исписанная мелким, очень ровным почерком, а на ней железка: обломок вала с двадцать первой. Выпилил, значит, и притащил.

— Садитесь куда хотите, у меня богато.

Мы сели на нары. Тарасюк снял шапку и держал её на коленях, как в гостях.

— Начинай, — велел мне замполтех. — С самого начала и не торопись. Я перебивать буду, ты не обижайся, это не из вредности.

Минут двадцать я втолковывал всё так, как объяснял бы девятнадцатилетний тракторист из МТС: не книжными словами, а руками. Взял огрызок карандаша и нарисовал в его тетради два кружка и палку между ними. Показал, как один кружок толкает, а второй в это время притормаживает, как палка скручивается. Растолковал, что если толкать и отпускать в такт, то с каждым разом выходит сильнее, и это знает всякий, кто качался на качелях.

— На качелях, значит, — хмыкнул Гуревич.

— Ну да. Вы же не тянете всё время. Поддаёте в нужный момент, и качели сами разгоняются.

— И у нас поддаёт…

— Второй мотор. Сто раз в секунду.

Гуревич взял обломок и стал вертеть его у коптилки. В жёлтом дрожащем свете кольца на изломе были видны хорошо: они шли от края к середине, частые и ровные.

— Допустим. Тогда объясни мне, Бортник, почему они летят на малом газу. Ты же говоришь, сильнее нагрузка, сильнее ломает. А у нас наоборот: под нагрузкой тянет, на холостом рвёт.

Этому вопросу я обрадовался: на такие отвечать приятно.

— А потому, товарищ техник-лейтенант, что дело не в силе, а в такте. Можно гирю на палку повесить, и ничего ей не будет. А можно ту же палку легонько дёргать, и через час она переломится, если попадать в её собственный счёт. У железки этот счёт есть от рождения, как голос. Когда обороты такие, что моторы в него попадают, тогда и рвёт. Чуть выше или чуть ниже, и всё, не попадают, хоть год езди.

За плащ-палаткой ремонтник уронил ключи и выругался, и стало слышно, как потрескивает коптилка.

— Резонанс, — проговорил Гуревич.

Я похолодел: этого слова я вслух не называл, и слава богу.

— Не знаю, как оно называется, — буркнул я. — Я неучёный.

— Резонанс оно называется, — Гуревич задумчиво повертел обломок. — Мост в Петербурге так уронили, ещё при царе. Рота прошла в ногу, и мост в воду. Я про это в детстве читал, в книжке с картинками.

Он положил обломок на тетрадь, поверх моих кружков.

— Значит, наши машины идут в ногу.

— Выходит, что идут.

— И что нам с этим делать?

— Не давать им попадать в такт, — я показал на его карандаш. — Обороты держать выше того места, где воет. Не переключаться лишний раз, не катиться накатом на малом. На стоянке не греть подолгу на холостых. Услышал вой, сразу газу, а не наоборот.

— Мотор перегреется, — заметил Гуревич.

— Перегреется, — согласился я. — И масла будет жрать больше. Но моторов у нас два, и оба меняются за день, а вал меняется за неделю. И то если он есть.

Гуревич снял очки, оказывается, он читал в очках, я раньше не замечал, и потёр переносицу.

— Товарищ младший лейтенант, вы это слышали?

— Слышал, — кивнул он.

— И что скажете?

Тарасюк повертел шапку.

— Скажу, что он у меня с восьми утра умный. А я с восьми утра боюсь. Если он прав, мы едем воевать на машинах, которые сами развалятся. А если не прав, мы едем воевать на машинах, которые развалятся всё равно, только знать не будем почему.

Гуревич надел очки обратно.

— Логично. Военное училище, я вижу, даром хлеб не ело.

Он закрыл тетрадь и придавил её обломком.

— Слушайте оба. Наверх я с этим не пойду. Пока не пойду. Пойду, с меня спросят, откуда я это взял, и придётся признаться: механик рассказал, девятнадцати лет. И разговор кончится, не начавшись. Понимаете?

— Понимаем, товарищ техник-лейтенант, — ответил Тарасюк за двоих.

— Поэтому сделаем тихо, — Гуревич загнул палец. — Первое: завтра я проеду по батареям и каждому механику прикажу держать обороты выше, ниже не ронять. Без объяснений. Приказ по технической части, мало ли что там зампотех придумал.

— А поймут? — засомневался Тарасюк.

— Половина поймёт неправильно, четверть забудет, четверть выполнит. Для проверки нам и четверти хватит, — он загнул второй палец. — Второе. Бортник, твоя машина едет как ты хочешь. Слова тебе никто не скажет, я улажу. Хочу посмотреть на неё через триста километров.

— Есть, товарищ техник-лейтенант.

— И третье, — он поднял голову, и глаза за стёклами были совсем невесёлые. — Если через триста километров у всех будет мясо в коробках, а у тебя нет, я начну тебя слушать всерьёз. А до тех пор ты молодой механик с бойким языком, и я тебя не знаю.

Мы вышли на мороз. Небо расчистилось, высыпали звёзды, и стало ещё холоднее.

Тарасюк натянул шапку.

— Ну, считай, повезло.

— В чём повезло-то?

— Что он тебя не выгнал, — Тарасюк пошёл к машине, увязая в снегу. — Я бы на его месте выгнал, Бортник. И ты бы выгнал. Нам всем, знаешь ли, спокойнее, когда виноват механик.

* * *

Штаб полка стоял в двух избах разорённой деревни, от которой не осталось даже таблички с названием: кто-то пустил её на растопку.

Подполковник Ситников сидел за столом в горнице в одной гимнастёрке. В избе было так холодно, что изо рта у него шёл пар, но шинель он не надевал: считал, что командир не должен мёрзнуть первым. Перед ним лежала не большая штабная карта, а рабочая километровка, вся в карандашных пометках.

— Четвёртая, — уточнил он, дослушав. — Так, Гуревич?

— Так точно, — подтвердил Гуревич. — Четвёртая.

— А машин двадцать.

— Двадцать одна была, двадцать стало.

Ситников поднял голову. Ему было под сорок; лицо широкое, обмороженное, левая бровь когда-то рассечена и срослась неровно, отчего казалось, будто он всё время чуть-чуть удивляется.

— Значит, так. Двенадцатого мы должны быть на исходных и работать. Не тринадцатого, а двенадцатого. Ты это понимаешь?

— Понимаю, товарищ подполковник.

— Тогда скажи мне, товарищ техник-лейтенант, одну простую вещь, — говорил он ровно, и от этого спокойствия Гуревичу стало неуютно. — У нас машины ломаются оттого, что механики криворукие, или оттого, что машина плохая?

Гуревич промолчал на секунду дольше, чем надо.

— Есть основания полагать, товарищ подполковник, что дело в конструкции.

— В конструкции, значит, — повторил Ситников.

Ситников встал и подошёл к окну, наполовину заложенному кирпичом.

— Ты знаешь, сколько таких машин в Красной армии?

— Никак нет.

— И я не знаю. Думаю, немало, раз нам целый полк дали. И вот представь: я пишу наверх бумагу. Товарищ командующий, машины, которые вы нам дали первыми в стране, негодные. Что мне ответят, как думаешь?

— Думаю, ничего хорошего.

— Ничего хорошего, — согласился Ситников. — Ответят: подполковник Ситников ищет причины, почему не может выполнить задачу. А причина должна быть одна: он её выполнит.

Он вернулся к столу.

— Поэтому сделаем так. Ты, Гуревич, будешь чинить, молча и быстро. А я буду делать вид, что всё в порядке. И двенадцатого мы вместе будем на исходных. Ясно?

— Ясно, товарищ подполковник.

— Свободен, иди.

Гуревич уже взялся за дверную скобу, когда его окликнули:

— Семён Маркович.

Зампотех обернулся. Ситников не поднимал головы от карты.

— Если у тебя есть человек, который понимает, отчего они ломаются, держи его при себе. И подальше от разговоров. Сейчас такое время, что понимающих любят не все.

В тёмных сенях Гуревич налетел на кого-то плечом.

— Извиняюсь, не видать ничего, — пробормотал Гуревич.

— Ничего, бывает, — отозвался незнакомый голос.

Человек посторонился. Он стоял у стены, куда свет из горницы не доставал, и видны были только сапоги, хорошие, не по-полковому чистые.

— Вы к товарищу подполковнику? — спросил Гуревич.

— Я так, — обронил человек. — Погреться зашёл.

Гуревич вышел на мороз и только шагов через двадцать сообразил, что греться в сенях негде: там холоднее, чем на улице. Он обернулся. В сенях уже никого не было.

Глава 3

Войну я увидел на третий день пути, под утро, и с той стороны, какую не показывают в кино.

Мы шли вторые сутки почти без остановок, и дорога постепенно менялась. Сначала по обочинам пошли воронки, старые, заметённые, похожие на оспины. Потом начались брошенные машины: полуторка с оторванным передком, завалившаяся набок в кювет и уже вросшая в снег; за ней трактор без гусениц; дальше что-то вовсе не опознаваемое, обгорелое до черноты, с торчащими рёбрами. Их никто не убирал, их объезжали, и казалось, что дорога идёт по чьим-то костям, давно, привычно и без всякого почтения.

А потом мы встали пропустить встречную колонну, санитарную.

Шли сани, потому что машин не хватало, а лошадь протащит по снегу там, где мотор не пройдёт. Штук двадцать, одни за другими, и в каждых лежали по трое-четверо, укрытые чем попало: шинелями, тряпьём, а раз я увидел кусок ковра. Лошади шли шагом. Возницы не подгоняли, везли бережно, объезжая колеи, и от этой осторожности становилось особенно не по себе.

Наши молчали. Федя перестал жевать. Лукич снял шапку, подержал в руках и надел обратно.

С третьих саней на меня смотрел человек. Он лежал головой к нам, забинтованный так, что оставались только глаза и рот. Глаза были молодые и совершенно спокойные. Он разглядывал нашу двадцать третью, пушку, побелённую броню, долго, потому что сани ползли медленно, и в его взгляде не было ни злобы, ни зависти, ни надежды, только что-то вроде вежливого интереса: вот, мол, новая какая техника, не видал такой.

Потом сани прошли, и он уехал.

— Восемнадцать саней, — проговорил Лукич.

— Считал, что ли? — переспросил Федя.

— Считал, по головам.

— А зачем считать-то?

— Затем, что если не считать, то это будет не восемнадцать саней, а просто страшно, — пояснил Лукич. — А я, Федя, страшного не люблю. Я люблю понятное.

* * *

Район сосредоточения нам отвели в лесу севернее Назии. Так выходило по карте, которую Тарасюк однажды позволил мне посмотреть через плечо, а на глаз это был просто лес: все леса тут были одинаковые.

Лес достался паршивый, болотный сосняк на кочках, деревья тонкие, редкие, сверху всё просвечивает. Укрыть в таком двадцать самоходок — дело на сутки, и мы их честно отработали: рубили лапник, таскали жерди, городили над машинами что-то вроде шалашей, потом рыли щели для людей ломами, по очереди, потому что лом был один на три экипажа.

Земля не поддавалась. Она была даже не мёрзлая, а какая-то каменная, и под тонким слоем дёрна начинался торф. К торфу я тогда отнёсся легкомысленно, о чём потом жалел.

Федя отдал мне лом и распрямился.

— Слышь, а чего оно тут всё бурое?

Я ковырнул. Вывернулся пласт плотной волокнистой массы, коричневой, слежавшейся, с корешками и даже с куском ветки, совсем целым, только чёрным.

— Торф это, — объяснил я.

— А это что такое?

— Болото, которое умерло и залежалось.

— Тьфу ты, — он вытер руки о телогрейку. — А зачем оно?

— Печку им топить.

— Так мы, выходит, в печке окопались?

— Выходит, так, — согласился я.

Он задумался, потом просветлел.

— Ну и ладно. Зато сухо будет.

Сухо там не было никогда, и через неделю Федя это узнал, но пока не знали мы оба.

* * *

Приказ зампотеха насчёт оборотов полк воспринял ровно так, как Гуревич и обещал.

На второй день он прошёл по батареям и собрал механиков у кухни, человек двадцать, чумазых, в одинаковых замасленных телогрейках.

— Слушать сюда. С сегодняшнего дня ходим на повышенных. Ниже тысячи двухсот обороты не ронять. Накатом на малом не катиться. На стоянке долго не греть, лучше заглушить и завести заново.

Механики переглянулись.

— Товарищ техник-лейтенант, так мы ж масло сожрём, — возразил кто-то сзади.

— Сожрёте, не без того.

— И перегрев будет, — не унимался тот же голос.

— Будет и перегрев.

— А зачем тогда?

Гуревич выдержал ровно такую паузу, чтобы стало понятно: объяснять он не собирается.

— Затем, что приказ. Вопросы по существу есть?

Вопросов по существу не нашлось. Но, как водится, через полчаса они появились у всех, и обсуждать их пошли не к Гуревичу, а друг к другу, так что к вечеру полк точно знал: зампотех чудит, в наркомате чего-то напутали, бензина теперь не хватит, а виноватыми сделают механиков.

Знал полк и другое: придумал всё это не Гуревич.

Как узнали, не понимаю до сих пор. Я никому не говорил, Тарасюк тоже, а Федя с Лукичом подробностей не знали. Но на третий день я пошёл за кашей и услышал в очереди у кухни:

— …а с двадцать третьей механик. Ему, вишь, во сне приснилось, отчего валы летят.

— Да ну?

— Вот те ну. Гуревич с ним всю ночь сидел, чертежи рисовал.

— И чего нарисовали?

— А чтоб мы теперь на третьей передаче ездили и бензин переводили.

— Складно выходит.

— То-то и оно, что складно. Мы тут все дураки, а он один умный, из-под Калуги.

Я взял кашу и отошёл, и в спину мне негромко, но так, чтоб я слышал, бросили:

— Академик.

Прозвище прилипло. Академиком я проходил дня четыре, и это были не самые весёлые дни в моей жизни: девятнадцатилетнему телу, в котором я сидел, очень хотелось пойти и объяснить кому-нибудь всё кулаками, а тридцатичетырёхлетней голове это казалось непроходимой глупостью. Голова победила, но с трудом.

* * *

Отменили всё это одно утро и одна кувалда.

Встал Марчук, командир первой батареи. Не на марше, а прямо у себя на стоянке, и вот это было обиднее всего: машина ночевала, утром пошли заводиться, а двенадцатая не тронулась. Двигатели работали, передачу включали, а она стояла.

К полудню вокруг двенадцатой собрался весь полк, то есть все, кому было не лень, а лень в такой мороз не было никому: стоять и смотреть теплее, чем сидеть.

Гуревич лазил под ней с самого утра. Вылез, сел прямо в снег и объявил:

— Тормозная лента примёрзла. Левая.

— Так отогрей, — потребовал Марчук.

— Чем? — огрызнулся Гуревич. — Паяльной лампой? Там бензопровод в двух вершках. Хочешь костёр, скажи, устрою.

— А снять её?

— Снять значит бортовую разбирать. Сутки. Это если гайки пойдут, а они не пойдут, они у нас с завода прикипевшие.

Марчук глядел на свою машину, как смотрят на любимую лошадь, сломавшую ногу.

Я стоял с краю, в третьем ряду, и, честно говоря, собирался молчать: академиком я уже набылся досыта. Но дело было простое.

— Товарищ техник-лейтенант, разрешите? — окликнул я.

Все обернулись.

— О, наука подошла, — фыркнул кто-то.

— Говори, Бортник, — велел Гуревич.

— Кувалду дайте, товарищ техник-лейтенант.

Стало тихо, а потом заржали. Не все, человек шесть, зато громко, с удовольствием: смеяться в мороз хорошо, греет.

— Кувалдой её! — обрадовался кто-то. — Точно! Ты, парень, ещё ломом добавь!

— Дайте кувалду, — повторил я.

Гуревич посмотрел на меня поверх очков.

— Дайте ему кувалду.

Принесли хорошую, пудовую, на длинной ручке. Я обошёл двенадцатую, лёг в снег и залез под борт. Там было тесно, воняло маслом, и снег сразу набился за воротник.

Лента примерзает не по всей длине, а там, где натекла и застыла вода, то есть внизу, в нижней части барабана. Отдирать её бесполезно, греть долго, а стронуть можно: лёд хрупкий и от резкого удара не тянется, а лопается. Бить надо не по ленте, а по кожуху снаружи, коротко и зло, чтобы пошла волна.

Я примерился и ударил.

Гул прокатился по всей машине, кто-то снаружи ойкнул. Я ударил ещё раз, в другое место, потом в третье.

— Заводи! — крикнул я. — И дёрни, сразу дёрни!

Наверху завели. Машина рыкнула, дёрнулась и с треском, с хрустом, с сухим щелчком пошла. Пошла, зараза.

Марчук подошёл, забрал у меня кувалду, посмотрел на неё, потом на меня.

— Звать как?

— Красноармеец Бортник.

— Бортник, значит, — повторил Марчук.

И вдруг гаркнул на весь лес, так что с сосны посыпалось:

— Механики! Учитесь, пока Кувалда живой!

Теперь заржали все, и по-доброму. Так оно и приклеилось: Кувалда.

* * *

Вечером к нам приполз Дрозд.

Его экипаж распихали по другим машинам, и Дрозду досталась семнадцатая, где он числился вторым механиком, то есть никем: за рычагами там сидел свой хозяин, а запасной таскал вёдра.

Он принёс гармонь и подсел к нашему костру, маленькому, в яме, прикрытому сверху, потому что открытый огонь в лесу был запрещён.

— Слышь, Кувалда, — Дрозд смотрел в огонь. — А правда, что ты знаешь, отчего они летят?

— Правда, Сёма.

— А моя-то, значит, не от меня?

— Не от тебя. От того, как её сделали.

Он покивал, и было видно, что это ему важнее всего остального на свете.

— А то я, знаешь, три ночи не сплю, — признался он. — Всё думаю, где недоглядел. Может, масла мало подлил. Может, дёрнул не так.

— Ты не дёргал.

— Я не дёргал, — с облегчением подтвердил он. — Я прям как с дитём.

Помолчав, он вдруг заиграл, тихо, вполголоса, прикрывая мех ладонью, чтоб не разносилось.

Песню он и вправду знал одну, «Синий платочек». Играл плохо, то есть верно, но без всякого таланта, ровно, как швейная машинка строчит. И всё-таки через минуту Федя стал подпевать, Лукич закрыл глаза, а я сидел, смотрел в огонь, и мне было, вот странно, хорошо. Хорошо в январе сорок третьего, в болотном лесу, в яме, в чужом теле, рядом с людьми, которых я знал четвёртый день.

Подумав об этом, я тут же испугался. Если мне здесь может быть хорошо, значит, я начинаю тут жить, а тогда однажды это станет единственным, что у меня есть, и терять его будет так, как я сейчас даже представить не могу.

— Слышь, Кувалда, а ты чего не поёшь? — толкнул меня Федя.

— Слуха нет, медведь на ухо наступил.

— А ты не пой, — хмыкнул Федя. — Ты рот открывай, как все.

* * *

На пятый день случилось то, чего я боялся с самого начала и к чему всё равно оказался не готов. Привезли почту.

Полк из-за неё встал на два часа: никакая сила не могла заставить людей заниматься чем-то другим, пока старшина разбирал мешок и выкликал фамилии. Стояли кучей, лезли вперёд, толкались, беззлобно ругались. Получившие письмо сразу отходили в сторону, поворачивались ко всем спиной и читали по три раза, шевеля губами.

— Пряников!

Федя получил два и расцвёл как самовар.

— Пахомов!

Лукич получил одно, сунул за пазуху и читать не стал.

— Бортник!

Я подошёл и взял треугольник из тетрадного листа в косую линейку, засаленный по сгибам. Адрес был выведен крупно, старательно, с нажимом: «Действующая армия, полевая почта… Бортнику Николаю Степановичу».

Я отошёл к машине, сел на гусеницу и развернул.

«Здравствуй, дорогой сыночек Коленька».

Дальше шли полторы страницы. Я прочёл их дважды и понял только общий смысл: дома всё как всегда, корову свели в колхоз, тётка Груня померла в ноябре, Валюшка твоя заходила и спрашивала, Мишка пишет редко, а ты пиши чаще, мы твои письма в сундуке держим.

Мишка, Валюшка, тётка Груня. Я не знал никого из них. Кто такой Мишка, брат, сосед, дружок? Кем ему приходится Валюшка? Даже имени матери я не знал: подпись стояла «твоя мама». Я сидел с чужим письмом в руках, и было такое чувство, будто залез в дом через окно.

— Чего пишут? — Федя плюхнулся рядом, счастливый, с двумя своими листками.

— Живы все, пишут.

— Ну и слава богу. У меня тоже живы. Мамка пишет, отцу бронь дали, он теперь в артели, санки делает. Санки, ты подумай! Война, а людям санки нужны, — он потряс листком. — А сеструха замуж собралась. За хромого. Мамка против, а я за: хромой, он дома будет.

— Разумно рассуждаешь.

— А то, — он без всякого стеснения заглянул мне через плечо. — О, а это кто у тебя? Валюшка?

— Соседка наша, — соврал я наугад.

— Ага, соседка, — Федя захохотал. — У меня тоже соседка была. Я на ней чуть не женился, пока не выяснилось, что у ней ещё три соседа.

Я убрал письмо в карман гимнастёрки.

А вечером пришлось отвечать: старшина объявил, что завтра оказия, кто хочет, пишите. Я взял листок, огрызок карандаша, устроился у коптилки и просидел час.

Это, оказывается, было невозможно. Я мог врать лейтенанту, мог плести зампотеху про молотилку в МТС. А написать «здравствуй, мама» женщине, которая держит письма сына в сундуке, я не мог физически: рука не шла.

— Не пишется? — спросил Лукич, не поднимая головы от рукавицы, которую чинил.

— Не пишется, Лукич.

— А ты попроще, — проворчал он. — Они, милый, не слов ждут. Они ждут, что почерк твой.

Вот это меня и добило. Какой у Бортника почерк, я не знал. А мать его знала.

— Лукич, а если я контуженный и рука не та?

Старик поднял голову, посмотрел на меня долгим, нехорошим, всё понимающим взглядом и ни о чём не спросил.

— Тогда диктуй Федьке. Он пишет как курица, но мать всё равно разберёт, потому что там будет написано «жив».

Федя писал, высунув язык.

«Здравствуйте дорогая мама. Пишет вам за Николая товарищ его Фёдор Пряников, потому как Николай Степанович руку повредил слегка, не опасно, скоро заживёт. Кланяется он вам низко и говорит что жив-здоров кормят хорошо».

— Про кормят не надо, — попросил я.

— Почему это?

— Она поймёт, что вру.

Федя зачеркнул и вывел: «Кормят по-разному, но не голодаем». Потом посыпал печной золой вместо песка, подул и свернул треугольником.

— Держи, — он вдруг посерьёзнел. — Слышь, Кувалда. А ты правда руку повредил?

— Правда, Федя.

— Когда успел-то?

— Давно, — буркнул я. — Ещё до тебя.

* * *

Командира полка я увидел на шестой день, издали.

Ситников приехал в батарею верхом, на низкорослой мохнатой лошадке, слез и пошёл вдоль замаскированных машин, заглядывая под каждый шалаш. За ним тянулись Марчук и ещё двое.

Он молча смотрел, трогал, отгибал лапник, проверял, не блестит ли где железо. У третьей машины он что-то коротко бросил, и оттуда сразу побежали затирать следы гусениц. У нашей он задержался дольше.

— Кто маскировал? — поинтересовался Ситников.

— Экипаж, товарищ подполковник, — доложил Тарасюк.

— А ствол?

Все посмотрели на ствол. Лапником его закрыли отлично, но дульный срез высовывался на ладонь, и металл на нём был чистый.

— С земли не видно, — заметил Ситников. — А сверху вот он. Солнце выйдет, блеснёт. И придёт к вам гость, и не один.

— Виноват, исправим.

— Вот и исправьте.

Он уже пошёл дальше, но обернулся.

— Это ваш механик кувалдой лечит?

Тарасюк замялся на полсекунды.

— Мой, товарищ подполковник.

Ситников нашёл меня глазами. Взгляд у него был тяжёлый, но не злой: так мастер смотрит на подмастерье, которого ему навязали и который то ли пригодится, то ли нет.

— Ну-ка, механик.

— Красноармеец Бортник.

— Машина пойдёт, когда надо?

— Пойдёт, товарищ подполковник.

— А почему так уверенно?

Другого ответа я не придумал и выложил правду:

— Потому что я с неё не слезаю.

Ситников хмыкнул коротко, одной половиной лица.

— Ну-ну, — обронил он. — Посмотрим.

И уехал. А я остался стоять и думать, что сейчас, кажется, всё и решилось: меня заметили. В армии это бывает и к лучшему, и к худшему, и заранее никогда не угадаешь.

* * *

Вечером того же дня к Гуревичу в землянку пришёл человек в чистых сапогах.

Зампотех как раз разбирал на ящике бортовую передачу с двадцать первой. Машину всё-таки притащили через двое суток, тремя тягачами и силами половины полка, и копался он в ней не в надежде починить, а чтобы посмотреть.

— Семён Маркович? — окликнули от входа.

— Он самый.

— Гнедич. Особый отдел полка.

Гуревич выпрямился, вытер руки ветошью. Гостю было лет тридцать пять; среднего роста, неприметный до полной невидимости, из тех, кого через час не вспомнишь, как ни старайся. Форма на нём сидела обыкновенно, без шика. Только сапоги.

— Присаживайтесь. Хотя у меня и негде.

— Я постою, я ненадолго, — Гнедич огляделся без всякого любопытства, словно всё здесь уже видел. — Скажите, сколько машин у вас вышло из строя за переход?

— Четыре машины.

— По каким причинам? — уточнил Гнедич.

— По техническим.

Гнедич вежливо, без выражения улыбнулся.

— Что не по политическим, я понимаю. Я спрашиваю конкретно.

— Три главных вала, одна коробка, — ровно ответил Гуревич. — Усталостные разрушения. Могу показать изломы, у меня тут один лежит.

— Покажите, будьте добры.

Гнедич взял обломок, покрутил у коптилки, разглядел кольца с искренним, кажется, интересом и положил обратно.

— Красиво, — признал Гнедич. — И что, это часто бывает у новой техники?

— Бывает, товарищ майор.

— А диверсия тут исключается? — мягко спросил он.

Вот оно. Гуревич выдержал паузу.

— Товарищ майор, будь это диверсия, изломы были бы разные. А они одинаковые, все четыре. Диверсант, знаете ли, не может подпилить вал в четырёх машинах на четырёх разных заводах, а они у нас с разных, я проверял по клеймам.

— По клеймам, — с уважением протянул Гнедич. — Молодец. Вот это правильный подход.

Он направился к выходу и у самой плащ-палатки остановился.

— Семён Маркович, а правда, что у вас в полку появился механик, который знает про машины больше, чем завод?

Гуревич помедлил ровно столько, чтоб не выглядело, будто ответ заготовлен.

— У меня, товарищ майор, в полку двадцать механиков, и каждый второй думает, что знает больше завода. Это называется молодость.

— А двадцать первый?

— Двадцать первого нет. Двадцать первый был Дрозд, и он теперь без машины.

Гнедич засмеялся. Смех у него был приятный, негромкий.

— Хорошо ответили. Всего доброго.

Плащ-палатка за ним опустилась. Гуревич постоял над разобранной передачей, потом надел очки, сел и открыл тетрадь. Долго смотрел на страницу, где чужой рукой были нарисованы два кружка и палка между ними, и аккуратно, по одному, вырвал эти листы. Скомкал и сжёг в коптилке по кусочку, чтоб не чадило.

* * *

Восьмого января нам зачитали приказ.

Полк построили в лесу, на вытоптанной площадке между машинами, и Ситников читал сам, с бумаги, хотя, по-моему, помнил наизусть. Полк придавался стрелковой дивизии. Задача — поддержка атаки на укреплённый узел противника. Выход на исходные в ночь, начало по сигналу.

Числа он не назвал, да и не мог: такие вещи говорят в последний момент, и правильно делают. Но я стоял в строю, смотрел, как слова уходят паром, и знал: двенадцатого.

Осталось четыре дня, последние, когда все двадцать машин нашего полка были живы, а все, кто в них сидел, целы.

Я смотрел Феде в затылок и пересчитывал их поимённо. Потом бросил, потому что понял, что уже делю людей на тех, кого запомню, и тех, кого не успею, и делаю это заранее, как человек, который знает, как оно будет.

А я не знал. Я знал только число, всё остальное нам предстояло выяснить самим.

Глава 4

Пристреливаться нас вывели девятого, в старый карьер километрах в трёх от стоянки. Яма была глубокая, с обрывистыми стенками, и звук из неё не уходил далеко и не туда.

Мишени сколотили из досок и расставили на четырёхстах, шестистах и восьмистах метрах. Таскали их, между прочим, мы сами, и волочь щиты по пояс в снегу на восемьсот метров оказалось работой куда утомительнее всего, что было до этого.

— Восемьсот, — пыхтел Федя, волоча щит. — Это ж почти верста. А зачем нам верста, если мы всё равно вблизи воевать будем?

— А ты откуда знаешь, что вблизи? — поинтересовался я.

— Дак это, — он поставил щит и перевёл дух. — Мы ж пехоту поддерживаем. А пехота, она вон, рядом ходит.

— Вот в том-то и беда, Федя, что рядом.

Он не понял, а я не стал объяснять: я и сам ещё не знал, как сказать то, что третий день вертелось у меня в голове.

Лукич пристреливался молча. Он вообще всё делал молча, и поначалу я думал, что от глухоты, а потом понял: он давно перестал считать нужным сопровождать работу словами. Влез, устроился, поводил маховиками, посмотрел в прицел. Вылез, обошёл машину, поглядел на неё сбоку, с кормы, потрогал ногой грунт под гусеницами и забрался обратно.

— Федь, первый, — велел он.

Федя подал.

Выстрел в закрытой рубке, я вам скажу, совсем не то, что снаружи. Хлопнуло так, что заложило уши, казённик прыгнул назад, гильза вылетела и загремела по настилу, и рубку тут же заволокло сизым, кислым, дерущим горло дымом. Продувки у нас не было никакой, а вентилятору размером с блюдце до этого дыма не было дела.

Я закашлялся.

— Привыкай давай, — бросил Лукич, не отрываясь от прицела.

— К этому разве привыкают? — выдохнул я.

— Не к этому, — пояснил Лукич. — К тому, что выхода нет.

Он попал с первого, в щит на шестьсот, точно в середину, так что доски брызнули. Потом в тот, что на четыреста. Потом в дальний, на восемьсот, со второго, взяв на два деления вправо, и, глядя на его руки, я сообразил, что поправку он не считает. Он её просто знает, как хозяйка чует, насколько наклонить чайник.

— Лукич, а вы сколько лет стреляете?

— Тридцать второй, — откликнулся он, подумав. — С перерывом.

— Большой перерыв?

— Двадцать три года, — он вылез из-за прицела и стал протирать руки ветошью. — Я, милый, в двадцать первом пушку сдал и думал, всё, отстрелялся. Женился, дом поставил. Сына вырастил.

— А сын где?

Лукич сложил ветошь вчетверо и убрал в карман.

— Сын под Ельней. В сентябре.

Я не знал, что на это говорят. В моё время тоже не знали, только у нас хоть какие-то слова придумали, а тут, я чувствовал, никаких слов не полагалось.

— Ты, Кувалда, не молчи так, — спокойно попросил Лукич. — Не надо. Ты спросил, я ответил. Это ж не рана, это кость уже срослась. Кривовато, а срослась.

* * *

После стрельб я взялся за экипаж.

Нахальство, конечно. Девятнадцатилетний механик, четвёртый день как из «академиков» в «кувалды», собирается учить наводчика, которому сорок шесть, и командира машины с училищем за спиной. Но я три дня примеривался и решил: пусть лучше обсмеют, чем потом смотреть на них на санях, как тот, забинтованный.

Начал я с Феди, потому что Федя соглашался на всё.

— Федь, покажи, как ты из машины вылезешь, если что.

— Дак вот же люк.

— Вот и покажи.

Он полез, долго, неуклюже, зацепился телогрейкой за скобу, на последнем движении застрял плечами и минуты полторы выбирался, пыхтя и ругаясь.

— Сорок секунд, — объявил я. — Плюс полторы минуты, пока ты застрявши сидел.

— Ну а чего я сделаю, если я в плечах широкий? — проворчал Федя.

— Телогрейку расстегни.

— Так холодно ж!

Я сел на броню.

— Федя, машина горит, скажем, с кормы. Бензин у нас где?

Он подумал.

— Сзади вроде.

— Сзади. Двести шестьдесят литров. Загорелось, и сколько у тебя времени?

Улыбка с него потихоньку сползала.

— Не знаю я, — пробормотал Федя.

— Немного. И за это немногое тебе надо откинуть люк, вылезти, спрыгнуть, отбежать. И желательно в ту сторону, откуда не стреляют.

— А мне откуда знать, где не стреляют?

— Вот и будем разбираться. Слезай, попробуем ещё раз. Только теперь телогрейку расстегни и левую руку вперёд выкидывай, а не обе сразу.

Пробовали до темноты. К третьему разу Федя вылезал за двадцать две секунды, к десятому за четырнадцать. На одиннадцатом он вылез, спрыгнул, откатился в снег и заорал оттуда:

— Кувалда! Я как рыба!

— Ты как пряник, — отозвался сверху Лукич. — Который сам из печи выскакивает.

Тарасюк смотрел на это издали, и я всё ждал, когда он прекратит балаган. Не дождался. Подошёл он, когда совсем стемнело.

— Меня завтра тоже погоняешь, — объявил он.

— Товарищ младший лейтенант, я не…

— Погоняешь, — повторил он. — Я командир машины, вылезать мне последним. Значит, мне быстрее всех надо.

* * *

Десятого собрали командиров машин разбирать задачу.

В самую большую землянку у штаба набилось человек тридцать: командиры машин, батарейные, начальники служб. Тарасюк взял меня с собой, незаконно, конечно, но на всех навалилось столько, что на механика никто не посмотрел.

На стене висела схема, нарисованная от руки на двух склеенных листах, и у меня, глядя на неё, холодели руки, хотя натоплено было до одури. Передний край. Наши траншеи. Нейтралка, от трёхсот до восьмисот метров. Немецкая линия. Дальше роща, обозначенная кружком с надписью, и ряд квадратиков: посёлок. И через всё это жирные стрелы.

— Задача полка, — Ситников вёл по схеме карандашом. — Поддержать наступление дивизии на участке прорыва. Первая батарея с первым батальоном, вторая со вторым, тяжёлая в резерве командира полка, со мной.

Говорил он спокойно, ясно, без бумажки, и было видно, что всё это он уже сто раз прожил у себя в голове.

— Порядок движения. Самоходки идут в первой линии, вместе с пехотой. Задача — огнём с коротких остановок подавлять огневые точки, мешающие продвижению. Особое внимание дзотам по опушке рощи и пулемётным гнёздам на насыпи.

Марчук поднял руку.

— Товарищ подполковник, разрешите вопрос по дистанции.

— Слушаю, Марчук.

— Мы идём в линию с пехотой или впереди пехоты? — уточнил Марчук.

Ситников посмотрел на него и ответил то, чего я боялся:

— Впереди. На пятьдесят — сто метров, чтоб тянуть пехоту за собой.

По землянке прошло движение. Не гул, просто человек тридцать чуть-чуть шевельнулись, и стало понятно, что думают они все одинаково.

— Товарищ подполковник, у нас броня двадцать пять, — напомнил Марчук.

— Я знаю, какая у нас броня, — отрезал Ситников.

— Немец её из противотанкового ружья возьмёт с трёхсот метров. А у него на километр по три ружья, не считая пушек.

— А ты не стой на месте, — хмыкнул Ситников. — Стоящую он возьмёт, а движущуюся как повезёт.

— На пятидесяти метрах от траншеи повезёт ему, а не нам, — буркнул Марчук.

Ситников положил карандаш.

— Старший лейтенант Марчук, объясните мне, пожалуйста, — он говорил всё так же спокойно, и от этого становилось только хуже. — Как вы собираетесь поддерживать пехоту, если будете от неё в полукилометре?

— Огнём, товарищ подполковник. С места. Мы для этого и с пушкой.

— С места — это артиллерия. А вы броня.

— Мы не броня, — упёрся Марчук. — Мы артиллерия, которую посадили на гусеницы и сверху прикрыли жестью. Это не одно и то же.

В землянке стало очень тихо, и тут меня понесло.

Я понимаю, как это выглядит со стороны. Красноармеец, механик девятнадцати лет от роду, без году неделя в полку, встревает в разговор комполка с комбатом. За такое в лучшем случае гауптвахта. Но я стоял, смотрел на схему и видел, что будет.

— Разрешите, товарищ подполковник.

Все обернулись. Ситников нашёл меня глазами не сразу: я стоял у стены, между двумя командирами машин, самый младший тут по званию и вообще лишний.

— Ты кто такой? — спросил Ситников.

— Механик-водитель двадцать третьей, красноармеец Бортник, — доложил я.

— А тебя кто сюда пустил?

— Я, товарищ подполковник, — голос у Тарасюка слегка сел. — Виноват.

Ситников помолчал.

— Ну, говори, механик. Раз уж встал.

Я набрал воздуха.

— Она не держит, товарищ подполковник. Совсем. Ни лоб, ни борт. Борт у неё пятнадцать, пулемёт бронебойно-зажигательной с полутораста метров его прошьёт.

— Дальше.

— А ещё у неё бензин. Двести шестьдесят литров, в корме, под тонким листом. Дизеля нет. Значит, при пробитии она не просто встанет, она вспыхнет. А в рубке крыша, и вылезать в четыре дырки.

— Дальше давай, — поторопил Ситников.

— Дальше я не знаю, как надо, — свой голос я слышал как чужой. — Но знаю, как не надо. Не надо её ставить туда, где по ней будут бить в упор. Она этого не переживёт. Ни одна.

— А что надо?

Вот тут следовало прикусить язык, но я не остановился.

— Ставить её сзади, товарищ подполковник. Метров за триста, а лучше за четыреста, и оттуда бить. Дзот с четырёхсот метров прямой наводкой берётся так же, как с пятидесяти, только по нам никто не попадёт. Менять место после двух-трёх выстрелов. Идти не впереди пехоты, а следом, перекатами, от укрытия к укрытию. Пехота вперёд, мы подтянулись, встали, отработали, пехота дальше.

— Перекатами, говоришь, — протянул Ситников.

— Так точно.

— А если пехота встанет?

— Тогда мы выходим вперёд. Но на минуту, а не на весь бой.

Ситников обошёл стол и подошёл ко мне вплотную, на полголовы выше и вдвое шире, пахнущий табаком и оружейным маслом.

— Хорошо говоришь. Складно. Прямо как по книжке. А теперь я тебе, механик, расскажу, как оно на самом деле бывает.

Он повернулся ко всем.

— Пехота, товарищи командиры, не пойдёт. Понимаете? Не пойдёт. Там сидит молодое пополнение, шестнадцать суток как из маршевой роты, и оно первый раз в жизни услышит, как бьёт немецкий пулемёт. И оно ляжет. Ляжет через сорок шагов и больше не поднимется, и вы можете ей сзади хоть салют устраивать.

Он снова повернулся ко мне.

— А что её поднимет? Одно: когда она увидит, что впереди неё идёт железо. Что кто-то идёт первым. Вот тогда она встанет и пойдёт следом. А ты, механик, со своей верной мыслью про четыреста метров будешь стоять и смотреть, как она лежит.

Я молчал, потому что он был прав. В этом и была вся мерзость положения: прав был он, прав был я, только про разное, и совместить это было нельзя никак.

— Товарищ подполковник, а если мы пойдём первыми и сгорим на первой сотне метров, она тоже ляжет. Только напугается ещё сильнее, потому что увидит, как горит железо.

Ситников сузил глаза. У меня за спиной кто-то шумно втянул воздух.

— Всё сказал? — спросил Ситников.

— Всё, товарищ подполковник.

— Тогда слушай приказ. Идём в первой линии. Впереди пехоты, на пятьдесят — сто. Не потому, что я не понимаю про твою броню, а потому, что мне задачу поставили, и звучит она так: прорвать. За семнадцать суток. Без прорыва Ленинград не разблокируется, а в Ленинграде, механик, люди едят столярный клей. Ты про это подумал?

— Подумал, товарищ подполковник.

— Ну так думай дальше. И веди машину, — он вернулся к столу. — Свободны все. Тарасюк, останься.

* * *

Тарасюк вышел через двадцать минут, и на нём лица не было.

— Ну что там? — не выдержал я.

— Трое суток ареста, — сообщил Тарасюк. — Условно. Гауптвахты нет, а посадить меня некуда, машина без командира останется.

— Простите, товарищ младший лейтенант, — выговорил я.

— За что?

— Что вас из-за меня.

Тарасюк остановился и как-то странно на меня посмотрел.

— Бортник, ты дурак, что ли? Он меня не за тебя. Он меня за то, что я тебя не остановил.

— Это одно и то же, — возразил я.

— Нет, — Тарасюк пошёл дальше. — Совсем не одно и то же. Он же понял, что ты прав. Раньше нас понял. Ты видел его лицо?

— Видел, как не видеть, — признал я.

— Ну вот.

Мы шли по тропинке между машинами. Наверху шумели сосны, с них сыпалась снежная пыль.

— Он всё сделает по приказу, — продолжил Тарасюк. — И мы всё сделаем по приказу. А ты, Кувалда, вот что. Покажи мне завтра на местности эти свои перекаты. Тихо, без начальства. Я посмотрю.

— Зачем, если приказ?

— Затем, что приказ действует до первого выстрела. А после первого выстрела командую я.

* * *

Перекаты мы отрабатывали на следующее утро за дальней вырубкой, куда начальство не ходило.

Формально это называлось «обкатка машины после ремонта натяжителя», и такая запись даже появилась у Гуревича в тетрадке. Когда я к нему подошёл, он посмотрел на меня поверх очков: «Обкатка так обкатка. Бензина у нас, конечно, нет, но на обкатку найду».

Выехали втроём, Тарасюк, я и Лукич. Федю оставили на хозяйстве, и он страшно обиделся.

Мы встали на краю вырубки.

— Смотрите, товарищ младший лейтенант. Вот пень. Вон бугор. Вон кусты. Это укрытия.

— Ну, допустим.

— Теперь считайте. Мы стоим за бугром, снаружи торчит один ствол. Немец нас не видит. Лукич бьёт.

— Бью, — согласился Лукич.

— Он стреляет раз, два, может, три. Больше нельзя: после третьего нас засекли, и по нам уже работает всё, что у них есть. И вот тут самое главное, товарищ младший лейтенант. Мы не ждём, пока прилетит. Уходим сразу после третьего. Назад, за бугор, потом в кусты, и оттуда опять бьём, уже с другого места.

— А если он нас там ждёт? — вставил Тарасюк.

— Значит, меняем не влево, а вправо. Немец думает, что мы пойдём вперёд, потому что все ходят вперёд. А мы сдадим назад.

Тарасюк потёр подбородок.

— Ты это всё откуда взял?

— Из головы, — честно ответил я. — Я же механик, товарищ младший лейтенант. Я всю жизнь думаю, как машину сохранить.

Попробовали. Вышло скверно: всё получалось, кроме одного, я не успевал. Уйти с позиции задним ходом — это переключиться, провернуть кулисой, выждать, и всё это время машина стоит на месте мишенью.

Попробовали ещё. Я стал готовить передачу заранее, до выстрела, держал её включённой и работал одним сцеплением. Вышло вдвое быстрее.

— Давай ещё, — потребовал Тарасюк.

Мы повторили восемь раз. На девятый я вывел двадцать третью из-за бугра назад, влево, в кусты и встал как влитой: семь секунд от последнего выстрела до полного укрытия.

Лукич вылез и закурил.

— В пятнадцатом году у нас это звалось «кочующее орудие». Ставили пушку, били три раза и перекатывали на руках. Немец накроет, а там пусто.

— И что, помогало?

— Пока лошади были, помогало, — проворчал Лукич.

Тарасюк ходил вдоль машины и считал шаги. Потом остановился.

— Бортник, вот тебе задача. Мы идём в первой линии, приказ. Пехота впереди нас на пятьдесят метров, мы её тянем. Где ты тут перекатываться будешь?

— Нигде, получается, — сдался я.

— Вот и я о том же.

— Но, товарищ младший лейтенант…

— Не «но», — он остановился передо мной. — Ты пойми, я не спорю. Я согласен. Я просто хочу, чтобы ты заранее знал: то, чему мы сейчас полдня учились, в первом бою нам ни на грош не пригодится. Оно пригодится потом. Если потом будет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.